

Interview between Philip Boobbyer (University of Kent) and Natalya Gorbanevskaya (Наталья Горбаневская), Paris, March 1997.

Филипп: Во-первых, есть ли у Вас какие-то общие впечатления на эту тему? Это близко Вашему поколению? Проблема совести

Наталья: Да конечно тем более что... Я бы сказала так что в основном ты живешь так что по поводу совести не задумываешься пока не сделаешь что нибудь против совести и потом наступает ее угрызения. У меня очень серьезный момент в жизни был, в каком-то смысле он и до сих пор сохраняется. Я вам потом расскажу, чуть позже. Но есть и такие моменты, когда нет еще никаких угрызений, но ты понимаешь, что если ты не сделаешь как-то по совести, то они будут. Вот это может быть как раз и был момент нашего выхода на Красную площадь, поскольку было очень стыдно, когда говорили о всенародном одобрении братской помощи, ну а весь народ, как бы, включает и меня и каждого из нас. Ну и чтобы не быть в это включенным, чтобы в каком-то смысле была чистая совесть, мы и участвовали в этой демонстрации. И, надо сказать, в этом видели описание того, как мы были потом все вместе в отделении милиции, и как нам было там радостно. А радостно было, потому что действительно поступили по совести в трудный момент, когда это было не так легко. Так что вот это, скорее, исключительный случай, потому что так действительно, ну... живешь-живешь, ну, конечно, очень часто приходится делать выбор и, бывает, делаешь выбор неправильно и сам себя обманываешь, пытаешься успокоить... Это бывает по мелочам, бывает по-серьезному, ну, я думаю, это вообще со всеми бывает. Я Вам сейчас просто скажу историю, которая в моей жизни была драматической. Это происходило 40 лет назад в 57-м году, когда меня просто с занятия в университете забрали и увезли на Лубянку, причем, увезли, как я потом уже поняла, по делу, к которому меня считали причастной, о котором я ничего не знала. Примерно было так: у меня был арестован один знакомый, и я все знала, что по его поводу говорится, и когда меня спросили, а они замечательно, конечно, спрашивают: "Почему, Вы думаете, что Вас привезли?" И вот я говорю: "По этому." И тут я все правильно говорила от начала и до конца. Но выяснилось, что они меня привезли не по этому делу, а по делу листовок, о котором я ничего не знала, которые, как оказалось, делали два моих приятеля, где было несколько строчек стихов, и они, как я понимаю теперь, подозревали, что это мои стихи. И у меня было так: меня там продержали три дня во внутренней тюрьме, что конечно, меня очень напугало. Полтора дня я держалась, а потом полтора я говорила-говорила-говорила, не останавливаясь. Самое плохое было даже не то, что я говорила, то что я сказала, чьи это стихи, что это, наверное, и листовку сделал этот человек, и что у него антисоветские взгляды - это ужасно, потому что потом этих двух ребят посадили. Одного, вот главного - на пять лет, а второго - на два. И это уже ужасно и непростительно. Но тут была еще другая ужасная вещь. Дело в том, что я в то время была вполне по взглядам, ну как говорилось, антисоветчиком. И тут вдруг, я, посреди второго дня во внутренней этой тюрьме, я вдруг вспылала какими-то старыми комсомольскими убеждениями.

Ф.: Они вернулись?

Н.: Вы знаете, потом я поняла - это был самообман, т.е. хотелось говорить, то что я говорила не на почве страха, а на почве каких-то идеалов. И вот это самое отвратительное, понимаете? Конечно, я этого всего себе не забыла, и помню всю жизнь... Когда я в 67-м году, т.е. через 10 лет после этих событий крестилась, я попросила свою крестную мать спросить священника... Потому что я знала, что крещение снимает все грехи, совершенные до него, если человек крестится во взрослом возрасте. Это было 30 лет назад. Я сказала, что вот такой-то у меня есть грех, я знала, что это снимается, но я все-

равно не могу себе его простить. Но мне объяснили, что это, как бы, мое дело, опять-таки дело моей совести, но, скажем, уже исповедоваться в нем я уже не должна. Он с меня крещением снят. ...Я думаю, может быть благодаря этому, все-таки, это вина моя, вина пред моими бывшими друзьями, а еще больше перед собой и своей совестью, все-таки меня не отравила до конца, потому что, в общем, это тоже могло бы случиться. Как-то я, все-таки, это... Ну первые годы я просто, скажем, старалась не высказываться ни о чем, не присутствовать ни при каких опасных разговорах, ни по чему-нибудь... Не потому что я боялась для себя опасных разговоров, а потому что я считала себя не вправе, и не потому что я думала, что если меня вызовут, я опять расскажу. Вот это я уже знала. Вот после этого я уже знала, как себя вести, скажем, когда меня вызвали в 60-м году по делу Алика Гинзбурга, тут никаких... все было прекрасно. Потом уже позже снова вызывали по делу Гинзбурга-Галанского, это меня не пугало. Уже как раз КГБ я не боялась. Ну потом я начала потихоньку заниматься самиздатом, поскольку я не переставала писать стихи. От стихов, естественно, перешла к более широкому самиздату. Я вот сейчас думаю, может быть это, конечно, случайно совпало, поскольку начало каких-то открытых действий, открытых писем... Ну, в общем, все мои открытые действия, где я подписывала письма и что-то делала, это все уже было после осени 67-го года, после того, как я крестилась, т.е. после того, как этот грех был с меня снят. Я не думаю, что я это тогда так сознавала, это я сейчас Вам говорю немножко задним числом, потому что может быть вот до конца 67-го года, скажем, когда мы написали большое письмо перед процессом Гинзбурга-Галанского, вообще почти не было традиции, чтобы рядовые люди подписывали письма, письма писали знаменитости. Но, хотя отдельные люди уже и до того писали какие-то письма, а вот, скажем, коллективное письмо, действительно подписанное массой неизвестных людей, как-то такого в Москве не было. Так что я говорю: может быть это совпадение. Но может быть это и так. Ну... так вообще вот... ну какие еще, скажем, шаги... штрихи из истории моей совести? У меня, конечно, есть, ну это так сказать, это другая история, но история, конечно, тоже совести. Или, скорее, с враньем. На самом деле вот тут нужно вернуться. Дело в том что... я вообще, я до сих пор, очень трудно мне соврать. Это у меня от дома, от мамы, от бабушки, ну... невозможно врать, это как-то считалось так... просто неприлично, позорно, постыдно. Ну... В какой-то момент уже, скажем, вот позже той моей первой истории я поняла, что, там, скажем, врать КГБ это совсем не постыдно. Потому что то, что они хотят от нашей правды, это мы знаем, чего они хотят, поэтому им правду говорить не надо. А я старалась врать минимально на допросах. Но когда меня посадили, и потом отправили в психиатрическую тюрьму, меня посадили... нет меня посадили в декабре 69-го года. Вы знаете, Вы можете найти книгу Питера Раддевея, вот, и там, я думаю, все это подробно описано. И я думаю, я там как раз рассказываю историю свою с врачами-психиатрами. Вот тут была история очень интересная, потому что я врала им в глаза, они знали, что я вру, я знала, что они это знают. И тут вот, как бы для меня было очень важно поставить границы: до куда я могу пойти в компромиссе, потому что из психиатрической тюрьмы надо выходить, иначе побудешь подольше и выйдешь действительно уже сумасшедшим. А это значит, ну как бы не выйти, меня все время преследовала одна идея, что я выйду из тюрьмы и не буду этого знать, не буду знать разницы между тюрьмой и волей. И, значит, я поставила себе несколько границ.

Ф.: Сознательно?

Н.: Сознательно, абсолютно сознательно. Во-первых, ничего не писать собственноручно, не писать никаких заявлений, никаких даже посторонних вещей. Я не знаю... скажем... ну неважно, это уже о других людях, так что я не буду на других кивать. Вот... Во-первых, не признавать самиздатскую деятельность правозащитную, как таковую, ни

противозаконной, ни антисоветской, никакой, а единственно говорить, что да, я, как мать двух детей не должна была этим заниматься. То что неправда, потому что для меня как раз было очень важно этим заниматься, чтобы в будущем... Мне как раз было важно, как я посмотрю своим детям в глаза, что я им отвечу, когда они скажут: а вот что ты делала в 68-м году? Вот, значит, вот это было первое. А второе - это я с ними соглашалась, что да, я действительно была больна, а теперь я выздоровела. Хотя, когда доходил разговор до того, в чем выражалась моя болезнь, было очень трудно как-то находить аргументы, но, в основном, они старались смазывать этот разговор. Им было достаточно, они записывают: Горбаневская соглашается, что она была больна, значит, это называется в советской психиатрии - критика. Это, по-существу самокритика, но называется это критика. То есть, критическое отношение к прежнему состоянию. Вот эти две вещи я себе позволила, но не больше. Скажем, когда... я думаю это там тоже описано, я Питеру все это рассказывала, когда на комиссии меня профессор Лунц спросил: "Ну вот, допустим, мы Вас выпустим, а ваши друзья начнут Вас снова втягивать в эту деятельность" Мне было в ту же секунду понятно, на что же рассчитан этот вопрос. Я страшно хочу выйти. Я страшно боюсь остаться в Казанской психиатрической тюрьме. Не думая, я должна на этот вопрос ответить: "Ну, вы знаете, я вернусь, я с этими бывшими моими друзьями не буду общаться" Я отвечаю: "Меня никто никогда ни в какую деятельность не втягивал, меня наоборот пытались останавливать." Дальше я говорю: "Ну уж если найдутся такие друзья, которые попробуют, я сумею им ответить". Понимаете, вот это для меня было важно. Этот ответ, кстати, вполне правдивый. Теперь, скажем, дальше. А! И еще одно! Я им обещала больше не заниматься никакой такой деятельностью. И тут я тоже знала, что это неправда. Потому что я знала, что я буду что-то делать, я буду продолжать помогать "Хронике", но уже так подпольно, чтоб об этом никто не знал, потому что я выпустила первый выпуск "Хроники текущих событий" 30 апреля 68-го года, и я думаю что, ну, я не говорю даже о том, что уже в начале осени были показания арестованных о том, что я делаю "Хронику", но кроме того, в общем, вся Москва знала, что я ее делаю, хотя, ну, я считала принципиальным, чтобы "Хроника" была безымянной. Во-первых, на случай ее продолжения, и это была очень правильная мысль, потому что "Хроника" продолжалась, людей арестовывали, а "Хроника" продолжалась, продолжалась и продолжалась 15 или даже 16 лет. Понимаете? Ну потом, я конечно считала, что, в общем, не нужно, чтобы знали, но это знали. И, конечно я хотела снова что-то делать для "Хроники", потому что это было мое любимое дело, но так, чтобы уже об этом никто не знал. И, значит, я на этот вопрос тоже врала, ну, вот, скажем, за это меня совесть не мучает. Вообще вот, честно Вам сказать, за все то, что я говорила в Казанской психиатрической тюрьме, та ложь, которая была, в принципе, не мучает. Вот один, может быть, момент. Вот который я Вам сказала. Я врала, они знали, что я вру, и я знала, что они знают. И вот этот момент с ними неловкий, понимаете, как-будто мы с ними одна компания, а ведь я с ними не одна компания, и вот это мне было конечно неприятно, вот это такое дружеское сотрудничество с врачами в этом вранье вот. Понимаете? Если б я одна им врала, а то ведь мы это вранье оформляем вместе. Вот это неприятно, это неприятно, конечно. Я знаю людей, которые, находясь в психиатрической тюрьме не следовали этой тактике и считали, что я вот в этом смысле капитулировала

Ф.: И были разговоры в то время об этих вещах между вами как бы...

Н.: Вы знаете, я когда вышла из Казани, у меня настолько... потому что хуже Казани я ничего не видела, я вышла, правда, уже не из Казани, я из тех 2-х с лишним лет, что просидела, в самой Казани была 9 месяцев. Но еще несколько месяцев в два приема в институте Сербского. Это самое тяжелое, это самое... И вот, как-бы черная дыра,

понимаете, у меня Бутырка, скажем, очень веселые воспоминания, хотя это, я не скажу, что это легкая тюрьма, что мне там не было ни голодно, ни холодно, но, по сравнению с Казанью, это был рай. Понимаете? Поэтому, я скажем, ну... о том как я выходила, это я с людьми говорила. На самом деле меня, ну все говорили, ну конечно надо было это так правильно... Нет, у меня потом было на этой почве серьезно столкновение с Владимиром Гершуни, который вышел позже меня из Орловской психиатрической тюрьмы, который, т.с., ни разу не пошел навстречу врачам, и который считал, что вот я капитулировала, и вот это было такое серьезное столкновение. Я не знаю, я до сих пор не могу сказать, понимаете? Я все равно думаю, что я иначе не могла бы поступить. Ну я думаю, все-таки, что правота тут с двух сторон, а не с моей одной и не с его одной

Ф.: Но то что мне интересно это -откуда появилось это ударение на совесть? Вы, как бы, подходили к теме чуть-чуть по-другому, но был интерес, сила интереса как жить по совести, и это был, наверно это было, как бы от ситуации, как не капитулировать

Н.: Во-первых, я не знаю, я думаю, что прежде всего в семье это было. В семье как-то совесть была таким совершенно очевидным понятием, вообще, в детстве кругом... ну я очень часто помню вообще, это было очень употребительные не просто слова, но и понятия: совесть, бессовестный, так поступать бессовестно, совестливый. Это было все еще в словаре той эпохи, хотя на мое детство, это 40-е годы, ну все-таки не только наши бабушки, но наши мамы родились и выросли еще до революции. Понимаете? И это было как-то естественно. Это был... Я не могу сказать, что это было что-то особенное. Это был естественный язык. У меня, скажем, семья была такая: и не партийная и не верующая. Т.е. обыкновенная вот... Мама моя была, собственно, интеллигентка в первом поколении. Но, скажем, бабушка моя была крестьянской дочерью, а родители ее еще родились при крепостном праве. Я думаю, что было что-то и крестьянское в этом, понимаете? Мне очень трудно говорить, откуда это взялось, мне кажется это, в принципе, было как-то естественно. И каким-то смешным образом, скажем, какие-то пионерские, комсомольские лозунги тех времен, они с этим как-то скрещивались, накладывались, в чем-то совпадали, и вроде бы не противоречили. Ну, правда, получалось, что, скажем, Павлик Морозов поступил по совести. Понимаете?! Вот так

Ф.: Безусловно, безусловно, невозможно избегать от проблемы. По-человечески. Даже я старый, хотел дать впечатление, что по-совести...

Н.: Вот, понимаете? Я... У нас как раз в нашем районе, где я жила, я жила в Краснопресненском, там в парке, куда иногда ходили, там открыли памятник Павлику Морозову, он меня ничуть не смущал. Мне не приходило в голову, что... что такое родного отца продать. За что бы то ни было, понимаете? Т.е. вот как-то...

Ф.: Тогда же символы...

Н.: Да-да-да! Вот, т.с. понимаете?

Ф.: Так позитивно даже влияли?

Н.: Безусловно, в эту совесть входили какие-то элементы искаженной идеологии. Ну.. как это очищалось мне трудно сказать, потому что... не знаю, трудно сказать.

Ф.: Я... в другом там... Вы сделали очень интересное мне замечание о... возьмем ... КГБ в 57-м году, что когда Вы отвечали, скажем, не по совести..

Н.: Да-да. Ну не по, а просто против совести

Ф.: Это было сознательно против совести или просто...

Н.: Нет-нет-нет, это был... ну как сознательно.. Это было подсознательно. Это был бессознательно. Это был полный самообман, потому что я самой себе не хотела признаться, что это только страх и боль и больше ничего. И вот это, вот это бессовестно.

Ф.: То что, довольно интересно, что, вы сказали, что после этого как бы Вы считали, что

может быть комсомольская идея не так плохие...

Н.: Да нет! Я когда вышла, я вообще в тот же день все поняла

Ф.: В момент? Вы, как бы, вначале считаете...

Н.: Вышла и поняла, что я сделала тут же, тут же, тут же, как только эти стены перестали на меня давить, тут же поняла.

Ф.: А потом, я просто думаю, что Вы сказали что за один момент...

Н.: Не-е-ет. Полтора дня.

Ф.: Потому что мне кажется, что человек делает что-нибудь против совести, и хочет защищать, его взгляды начинают меняться. Так наши взгляды связаны с нашей совестью.

Н.: Тоже могло произойти... Слава богу не произошло!

Ф.: Для многих советских людей это так

Н.: Вы знаете, тоже могло произойти, но слава Богу не произошло. Все-таки, я Вам говорю, это, видимо, все-таки некоторая естественная неспособность врать вдруг показала мне насколько я соврала сама себе

Ф.: Я сделал интервью с Ларисой Богораз, и мы говорили о демонстрации в 68-м году и тоже об этой теме, и она сказала очень неконкретно, и не хотела, как бы интимно говорить об этом, что до этого момента она, как бы начала интересоваться религиозными идеями. Не в церковном смысле... И что, в очень широком смысле, эта демонстрация была, как бы результат внутреннего развития. Вы думаете, что для всех это было так? Что можно понять вот эту демонстрацию, как морально-религиозное событие, скажем и не просто политическое, или это трудно отделить?

Н.: Вы знаете, нельзя говорить ничего для всех. Дело в том что, хотя нас было вот 7 или 8, но это было как бы... Это не была, как бы, коллективная демонстрация, это не была демонстрация группы, на самом деле мы, идя на площадь, не знали, сколько нас будет, и кто точно будет. Ну.. кое-кого я знала, а в целом - нет. Это была демонстрация совершенно вот отдельных личностей, сделавших одно дело в результате схожих мотивов, но схожих, а не обязательно одних и тех же. Я думаю, что у меня как раз... у меня в этом смысле с Ларисой ближе, но я действительно уже к тому времени почти год как была крещена, уже была... ну и потом, если Вы видели даже, даже книги "Полдень" я взяла эпиграф из апостола Павла... А, неужели в английском издании его нет? Есть, да? Т.е. как раз я книгу "Полдень" тоже осознавала как некоторую... религиозный момент. Т.е., ну, я во-первых знала, это я уже выпускаю книгу в самиздат под своей фамилией через год после демонстрации, по которой на меня прекратили дело, т.е. это я явно иду к ним в пасть. Конечно, я это так ощущала. Я не знаю насколько религиозный момент присутствовал у всех, но я думаю, что момент совести в широком смысле безусловно у всех. Безусловно, это была не политическая демонстрация, это была демонстрация нравственная. Это безусловно.

Ф.: Я заметил, довольно интересно в самом деле Вы это говорите. Решение сделать демонстрацию было лично каждому из нас. Довольно интересный параграф, что много, большая часть московской интеллигенции разговаривали об этом, чтобы это бесцельно или неэффективно и т.д. Ведь это действительно было так?

Н.: Да, это так было. Это переменялось после суда. После суда над 5-ю демонстрантами это переменялось. Это очень интересно было, потому что вдруг как-то суд вот показал значение этой демонстрации. Вы знаете, у меня есть... статья была в "Русской мысли" к 15-летию демонстрации, в которой я как раз писала, что как не странно

Ф.: Я должен найти вот это

Н.: Я Вам скажу точно от какого числа, где-то Вы в Англии найдете подшивку "Русской мысли", если не найдете, позвоните мне я найду у нас и сниму копию вам пришлю. Что,

как ни странно...

Ф.: Это какое число?

Н.: Это 25 августа 83-го года. Ровно 15 лет, ровно 15 лет. Что, как ни странно, значение этой демонстрации с годами только росло. Все росло и росло, вот первое, что я заметила, это как оно, как переменялось мнение этих московских, т.н. либеральных кругов за время и после суда.

Ф.: До суда люди говорили, что не было эффективно.

Н.: Ну да, ну что же такие замечательные люди сели, зачем? Зачем это надо было? Просто вот была замечательная фраза: "Эта сумасшедшая Богораз потащила их всех на демонстрацию". Во-первых, ну уж не говоря о том, что Богораз не сумасшедшая, как Вы, наверное, видели, вот... Во-вторых, никто никого не тащил на демонстрацию. Наоборот, масса людей ходили отговаривали, нас отговаривали. Всю ночь перед демонстрацией Валерий Челидзе сидел и объяснял нам, что не надо этого делать, что мы, вообще, все совершенно себя загубим. Переговоры чехословацко-советские загубим, в общем, все. Понимаете. Чего только не было. Ну и... А вот... Может быть до суда был еще один момент, когда общественное мнение начало немножко меняться, после письма Анатолия Якобсона. Но его письмо было откликом именно на эти настроения. И, надо сказать, оно произвело впечатление. И чем ближе к суду... Но сам суд, понимаете... Нам быстро удалось, на суде присут... на суд пустили много родственников, и нам быстро удалось выпустить в самиздат последние слова всех пятерых и защитительную речь Ларисы. И это все так прозвучало, Вы видели - вот они, победители. Вот они - не жертвы, а победители. Ну там их послали куда... Я намеренно не говорю слова "герои", хотя это слово тоже употреблялось, я его ненавижу совершенно, особенно, когда его к нам применяют. И... может быть я сразу скажу, потому что я, я сейчас была в России, мне несколько раз это приходилось говорить. Буквально я это говорю, что, когда нас называют героями, это значит, что героем считается тот человек, у которого есть и, т.с., действует совесть. Что же тогда, это, может быть действительно только среди людей совести лишенных, если каждого человека, который поступает по совести, считать героем, то каково же состояние общества? И, надо сказать, сегодня я думаю, когда там часто говорят: "Вот вы герои", то люди делают в порядке самооправдания: вы герои, вы это могли. А мы что? И при этом бессовестными они себя считать не хотят, понимаете?

Ф.: Я... Причина этого вопроса, это попробовать создать картину, как интеллигенция пробовала избегать этой проблемы в таком смысле, и сказать... эффективность... Лариса Богораз это говорит, что мы не по-эффективности, а по правде, но это довольно интересно, что, когда люди, они говорят, что неэффективно, они это... понимаете?

Н.: Вы, наверное, ну, я думаю, по-первых Вы встречались, наверное, с Буковским?

Ф.: Сделал интервью с Буковским.

Н.: Да... Ну, кроме того, просто Вы помните его первую книгу, где он приводит целый список самооправданий советских интеллигентов, целый список самооправданий. Ну понятно, но дело в том, что я действительно, поскольку я единожды узнала, что такое самообман и самооправдание, и как потом тебе от этого плохо, стыдно и жить не хочется

Ф.: Я из своего опыта тоже это знаю

Н.: Вот, а Вы знаете, ведь это...

Ф.: Гросман, в самом деле, очень тонко это описывает

Н.: Вот, самооправдание - это страшная вещь, потому что ну, когда люди, самооправдываясь, только на этом утверждают, когда они в этом, как говорится по-русски, коснеют, то они действительно теряют совесть. Но Буковский это, действительно, описал в свое время замечательно. Я хотела еще сказать. Я помню, конечно, впечатление

просто разорвавшейся бомбы, когда появилось "Жить не по лжи" Солженицына. Ну, тем более, что я, собственно, это было сразу после ареста Солженицына, и я просто в те дни...

Ф.: Это было?

Н.: 74-й

Ф.: До эмиграции?

Н.: До моей эмиграции, да.

Ф.: А нет, до Солженицыновской?

Н.: Ну, Солженицына арестовали, а на следующий день выслали.

Ф.: Да, но когда фраза по первой...

Н.: А "Жить не по лжи" просто через несколько дней было запущено в самиздат. Или в тот же день? В тот момент! До того, как семья уехала, тут же было запущено.

Ф.: После ареста, но до путешествия? После ареста Солженицына, но до его, как бы... что его выслали.

Н.: Вы знаете, это же все происходило на протяжении часов. Его арестовали вечером, а выслали на следующий день.

Ф.: Просто, я всегда хотел узнать когда эта фраза впервые употребилась?

Н.: Нет, он оставил этот документ, и его тут же пустили, ну может быть это, я не помню было это в день высылки или на следующий день, но я как раз все эти дни там находилась в квартире Солженицыных, так что я была одним из первых читателей, ну кроме тех, кто... кроме семьи, которая читала раньше, там, какие-то, может быть, близкие друзья. И, конечно, это была разорвавшаяся бомба. Но я должна сказать одну вещь: что уже тогда, и мы в каких-то частных разговорах это говорили, что... как бы там была одна вещь, я понимаю, задача этого документа такова, и все-таки, была какая-то деталь, которая не удовлетворяла. Это документ о том, как не жить по идеологической лжи. Действительно, эта идеология

Ф.: Это суть документа: жить не по идеологической лжи.

Н.: "Жить не по лжи" называется, да? И рассказывать, как, значит, совершенно порвать связи с идеологией, не быть к ней причастной, не голосовать, не-не-не. Но ведь ложь не только идеологическая. Понимаете? И вот потом там... понимаете, когда происходят... Потом уже несколько лет спустя, я уже была здесь, скажем, в том же кругу людей... Ну вот мы друг друга спрашиваем, ну, хорошо, вот, голосовать на собрании, конечно, плохо. А жене изменять и врать - хорошо? Понятно, что Солженицын не об этом, и что на это у нас существует там 10 заповедей, то се, пятое-десятое. Но, дело в том, что иногда получалось так, что люди, которые, скажем, от этой идеологической лжи отказались, вдруг попадали в сети какой-то такой вот простой лжи и потом так запутывались, понимаете. Вот была история с... я не буду называть имя... с человеком который в то, такой был очень истовый православный. Он был автором одного из многочисленных тогда писем по-поводу Солженицына, очень так ходил в героях, потом запутался в личной жизни, бросил жену... там я не знаю он женился или... просто ушел к своей крестнице, что уже против вообще всяких законов православия, как Вы понимаете. При этом продолжал какую-то деятельность. И в конечном счете, когда его арестовали, он... а ему было тогда не 20 лет, как мне в 57-м году, да и вообще в 70-е годы уже было масса инструкций, как себя вести на допросах и т.д. Вы знаете, он "поплыл" на следствии и не только дал много показаний, других уговаривал давать показания, понимаете? Вот, я думаю, что это началось с того момента, когда он, как бы решил: "Вот я живу не по лжи, я герой, вот не по этой лжи идеологической, а вся другая ложь мне дозволена".

Ф.: ...Это связано с жестокостью диссидентской, как мне кажется, нет?

Н.: В каком смысле?

Ф.: Я всегда хотел узнать, если иногда это желание не жить во лжи иногда стало – "я буду настаивать на своих взглядах", понимаете?

Н.: Вы знаете, фразу, которую Вы сказали – "я всегда буду настаивать на своих взглядах", я бы ее для себя сформулировала немного по-другому – "я буду всегда отстаивать свои взгляды" – это немножко другое.

Ф.: Да.

Н.: Это немножко другое. Я бы сказала, что сейчас я еще немножко может сдвинулась, я сейчас могу молча выслушивать какие-то взгляды, которые мне не нравятся, если я знала, что мои высказывания все равно не переубедят человека. Некчему. Понимаете? Не знаю, но вот во всяком случае.... Ну Вы знаете, во-первых, я не люблю слово "диссиденты", но это ладно.... Ведь все люди разные, они такие же разные как все общество, понимаете? Но все-таки я думаю, что если, скажем, куда-то в парк на парад шел отрицательный отбор, то в.... Такой стихийный отбор, т.е. чем хуже был человек, тем легче ему было туда прорваться.... То конечно в эту, в нашу опасную категорию отбор был – этот стихийный отбор – был более положительный. Конечно, все-таки таких прекрасных людей - так много прекрасных людей. Но ведь это не значит, что все люди были прекрасные. И главное, что... Вы знаете и не были герои. Я к одному человеку применила бы слово "герой", просто потому, что он действительно делал какие-то вещи, которые другие не умели, Герой – за мастерство, за храбрость – не только потому, что он был храбрый, а еще потому, что он умел что-то делать, то, чего другие не умели – это Быковский, конечно. Но вот один человек, к которому я, и то колеблясь, применила бы слово "герой". А так в общем, конечно... И то, зная его все-таки. Может быть потому, что в те времена я его не знала, я его знаю только начиная с Цюриховского аэропорта.

Ф.: В одном смысле, конечно, целый предмет – более интересно, потому что все люди обыкновенные....

Н.: Обыкновенные, конечно.

Ф.: Вот из-за этого это так интересно. Это, как бы, это мы, которые это делают, в одном смысле.

Н.: Ну да, конечно.

Ф.: ...И еще связано с моментом лжи. Кто-то мне сказал, что у Якобсона было большое разделение между ложью и враньем, что "ложь – неприято, а вранье – все в порядке." Значит вранье это, как бы, маленькие вещи. Мне самому не очень понравилось это, я просто хотел узнать, если такой подход был распространен или нет, или это он просто, как бы, сказал на стороне один раз. Но я хотел бы узнать, если такие моральные...

Н.: Это я не знаю, как было. Я просто, когда не знаю как у людей было... У меня, фактически, нет... Просто знаете, "ложь" – это слово более высокого стиля, вот и все. Да я могу одинаково сказать – "мелкое вранье" и "мелкая ложь". Понимаете, но вот скажем, не люблю даже.... Скажем, если я дома, я никогда не скажу моим детям по телефону, чтобы они ответили, что меня нет. Если я не хочу подходить, если я, скажем, плохо себя чувствую или что, скажите, что у меня нет сил. Вот как-то никогда у меня этого не было, хотя я знаю масса людей говорит "скажи, что меня нет" и для них это ничего.

Ф.: Я просто хотел вот этот момент, о чем Вы говорили, о том, что у разных это было стремление к правде, но только в идеологическом плане – мне кажется, это очень важный момент для многих, потому что это было слишком много толка в политическом плане.

Н.: Я еще, понимаете, с трудом, в течение многих лет жизни, научилась – я имею в виду в бытовом плане, просто промолчать, вместо того, чтобы сказать правду – промолчать. Вы знаете, у меня был очень смешной случай. Я сейчас была в России, пошла в Эрмитаж и там написано стоимость билета, скажем, 45, 000, льготы для граждан Российской Федерации – 15, 000, для пенсионеров – 3,000. Но я по возрасту по их пенсионер и мне кассирша говорит: «Вам пенсионный?» – и тут я сказала: «Да, только у меня нет с собой удостоверения». И она мне отдала. И я иду с девочкой с которой я пришла и говорю: «Как я здорово соврала!» Я так редко вру, что тут я даже собой гордилась, как я здорово соврала, не моргнув глазом! Вот, но тем не менее, скажем, все-таки я там ездила везде с билетом, хотя обычно у людей моего возраста в транспорте даже не спрашивают пенсионного удостоверения. Ну просто если спросят, я опять буду дурака валять. И было очень смешное, когда я выступала – читала стихи в мемореале, потом меня провожали до троллейбуса и я села в троллейбус, и троллейбус еще стоит, они там стоят на тротуаре. Ну я пробила билетик, вдруг подбегает одна женщина и говорит: «Вы же совершили гражданский поступок, в Вашем возрасте никто не берет билет!» Так что вот. Но, это я бы сказала, ну почти органическое, почти физическое. Так что даже заслуги в этом нет. Ну, т.е. заслуга может быть действительно моей мамы, вот. Мамы, бабушки, понимаете? Нет, я действительно разницы между ложью и враньем в общем не вижу.

Ф.: Мы уже приближаемся к концу. Один момент...

Н.: Да и еще, что я хочу сказать. Во всем, что я говорю я совершенно не хочу выглядеть учителем. Я ужасно не люблю учить, тем более, что я знаю, что и права не имею. И, кроме того, вообще не люблю учить, не люблю давать советы, не люблю говорить «вы должны поступить так-то или так-то». Но у меня бывает, посольку я какие-то мнения свои высказываю резко, у меня просто такая манера, людям кажется, что я учу. Но я правда, вот внутренне я никого не учу.

Ф.: В кнкте Вы отметили, что «мы хотели искупить каким-то образом вину нашего народа перед историей», и я думаю, что Лариса Богораз тоже об этом говорит в своей речи. Я просто хотел узнать, если это был, как бы, у Вас был сознательный разговор на эту тему, или это было довольно важно для Вас, как бы, искупить вину Родины.... Это, как бы, «не только моя ложь, но и....»

Н.: Вы знаете, я думаю, что об этом не говорили. Это как-то было так стихийно. Понимаете, но в каком смысле «искупить»? Вот в газетах писали «всенародное одобрение». Вот каждый из нас выйдет, «вот я – один, я – одна выйду» - и все, это уже не всенародное, это уже «весь народ – минус один», а на самом деле и не минус один, и не минус семь, а гораздо больше открыто выступивших. Я об этом в эпилоге к своей книге пишу и потом вот я в своей статье еще вот несколько примеров о людях, о которых я узнала позже, еще позже, уже за границей, понимаете? Вот все, «весь народ минус сколько-то» - это уже не весь народ. Вот я думаю это простая арифметика искупления, понимаете? Но при этом, конечно, поскольку мы были готовы ко всему, к чему угодно – от того, что нас убьют на месте и до того, что нам спокойно дадут спокойно разойтись по домам - хотя, в принципе, в обе в эти крайности мы не верили, но в общем готовы мы были ко всему. В этом смысле, конечно, был этот искупительный порыв. Ну, действительно пожертвовать собой, по-крайней мере своей свободой, но и в общем, своей свободой, в конце концов, мы все пожертвовали, т.е. я осталась тогда на свободе после демонстрации, так села позже. Это конечно, но... жертва... я не знаю, как по-английски, но вот по-русски почти нет разницы. По-французски разница, скажем, «victime» и «sacrifice», по-русски это разница «жертва» и жертвоприношение», так вот мы

не в том смысле жертва, что «victime» – вот в этом смысле жертвами мы себя не чувствовали никак, понимаете?

Ф.: Спасибо.

Natalya Gorbanevskaya, interview with Philip Boobbyer (English version)
Paris, March 1997

Philip: Is this theme close to you and your generation?

N.: It is. I would say that most people don't think about conscience until they do something which goes against it. I had a very serious moment of this kind in my life, which has remained until today to some extent. I will tell you about it a bit later. There are also moments when you know that if you do something it will be against your conscience. Perhaps there was something of that in our decision to go out to Red Square, because one was very ashamed when people talked about the friendship and support of the peoples. And people include each of us. And so that not to be included in it and to have a clear conscience, we took part in that demonstration. You may remember the description of how we were all together in the police office and how joyful we were. We were joyful because we had acted according to our conscience at a moment when it was not easy to do so. This was rather an exceptional occurrence, because you live and live and, of course, very often you have to make a choice, and there are moments when you make the wrong choice, you deceive yourself, try to reassure yourself. This happens over trivial matters and over serious ones, but it happens with everybody.

I'll tell you the story, which was dramatic in my life. It happened forty years ago in 1957, when, while I was at university, I was taken away to the Lubyanka. I was taken for questioning for something which I knew nothing about. One of my acquaintances had been arrested, and I knew what was being said about him. When I was asked why they had brought me there, I answered on the matter and was correct from beginning to end. But it became clear that they hadn't taken me in over that matter at all, but about some leaflets which I knew nothing about, which had been put together by a couple of my friends. And there were some poems there. As I see it now, they suspected that they were my poems. I spent three days there, in an inner prison, which frightened me very much. For half a day I kept control of myself, but in the second half of the day I kept talking and talking, talking non-stop. The worst thing was not that I said whose poems they were, and that a particular person had done the leaflets and that he had anti-Soviet views – this was terrible – but the fact that those two guys were put in prison afterwards. The main one was sentenced to five years and the other sentenced to two. And this was terrible and unforgivable. But there was also another terrible thing. Up to that point I had been anti-Soviet in my views. And then suddenly during this second day in the inner prison, I suddenly became inflamed with some of my old Komsomol opinions.

Ph.: Did they come back?

N.: You know, I later realised that this was self-deception. I wanted to speak not on the basis of fear, but on the basis of certain ideals. And this was the most disgusting thing. Of course I did not forget this and I remembered it for my whole life. When in 1967 I was baptised – 10 years after that incident – I asked my Godmother to ask the priest. I knew that the baptism took away all sins committed up to that point, if a person was getting baptised as an adult. It was 30 years ago. I confessed my different sins, knowing that they would be taken away, but still believing I could not forgive this incident. They said it was my personal matter, a matter of my conscience, but I did not need to repent of this, because the baptism had taken it away.

Somehow, perhaps because of it, my guilt before my former friends, and, even more so, before

myself and my conscience, had not poisoned me completely, although this might have happened. To begin with I tried not to express myself on any point, not to be present during dangerous conversations. Not because I was afraid, but mainly because I did not feel I had the right to do so. And it was not because I thought that if they called me up again, I would tell them. By that time, I already knew how to behave in such a situation. For instance, when I was taken in in 1960 in the Alek Ginzburg affair, everything was fine. And then I was again taken in over the affair of Ginzburg and Galanskoy, I was not scared. I was not afraid of the KGB at that time. Then bit by bit I tried to do some samizdat work, for I didn't stop writing poetry. My poetry took me into the broader samizdat. But I now think perhaps it was just a coincidence. In one word, all my open activities, when I signed letters and did other things openly, all took place after I was baptized in the autumn of 1967. In other words, after that sin had been taken away from me. I don't think I recognized that at the time. It is only now that I think that way, because up until the end of 1967, when we wrote a huge letter before the Ginzburg-Galanskoy process, it was not the custom for ordinary people to sign letters. They were signed only by the well-known. Although up until then individual people wrote some letters. But it was new to Moscow when a collective letter was signed by masses of unknown people. That's why I think perhaps there was a coincidence.

Well, what else? What other matters of conscience were there in my life? There is another story, which relates to lying. Even up until now, it is very hard for me to lie. That is the influence of my mother and grandmother. It was considered indecent and shameful. But later I understood that to lie to the KGB was something absolutely unshameful. Because we knew what they wanted out of our telling them the truth, we would not tell them that. And I tried to lie to a minimum under interrogations. But when I was put in jail and then sent to psychiatric hospital... I was put in prison in December 1969. You know, in Peter Reddaway's book you can find the details described. I think I explain my story and relations with the psychiatrists. There was a very interesting episode. I lied in their face and they knew that I was lying and I knew that they knew it. And therefore it was very important for me to set limits. How far could I go in lying? How was I to find a compromise? Because it was important to try and get out of psychiatric hospital. Otherwise, you would eventually become mad. And that means not to get out. I was worried that I would get out of the prison but not know it. I would not know the difference between prison and freedom. So I set certain limits for myself. Absolutely consciously.

Firstly, not to write anything at all, no applications for anything. I would not say anything about the human rights element or declare samizdat activity as the means to defend human rights. Nor would I say that it was illegal or anti-Soviet. I would simply say that as a mother of two children I did not have to participate in that. Which was not strictly speaking true because for me it was very important to be involved in all this. So that when I looked my children in the eyes, what would I say about what I had been doing in 1968? That was the first thing. Secondly, I also decided to declare that I had been ill, but that I was now better. Although, when the conversation went to discuss the features of illness, it was very difficult to find arguments. But they themselves tried to lubricate the conversation. It was enough for them to write that Gorbanevskaya had admitted to being ill. In Soviet psychiatry it was known as "criticism". Essentially that is "self-criticism", but it was called "criticism". That is a critical attitude to one's previous condition. So I allowed myself these two things, but no more. I think it is also described there because I told all this to Peter [Reddaway]. On the commission Professor Luntz asked me, "If we let you go, your friends will once again try to draw you in to this activity." I

immediately understood at what this question was aimed. I terribly wanted to get out of there. I was awfully scared to stay in the Kazan psychiatric prison. Without even thinking, I should have replied, "When I get back I will not have anything to do with my former friends". But, instead, I said that no one had ever tried to pull me into this work. On the contrary, they tried to stop me." Then I continued, "But if people like that appear, I will be able to deal with it." You see, that was very important to me. That was a fully honest answer. Also, I promised them not to do that kind of thing again. And I knew that was not true. I knew that I would do something and continue to help with the Khronika. But I wanted to do it underground, so that no one knew about it. I had published the first edition of the Khronika [Chronicle] of Current Events on 30 April 1968. All of Moscow knew that I was doing it. But I considered it a matter of principle that the Khronika was not named, in case of its continuance. And that was the right decision, because the Khronika was able to continue for almost 16 years, though they kept arresting people. I wanted to do something further for the Khronika – for it was my most favorite thing – but in such a way that no one would know about it. So I lied about that, but for that my conscience does not torment me. Frankly, I do not feel bad about the lies I told in the psychiatric hospital. In principle those lies do not torment me. Only one moment, perhaps. I have mentioned earlier that when I was lying, they knew that I was lying and I knew that they knew it. And that moment I felt uneasy, as if we were one company together, though we were not one company – it was of course unpleasant to be in a friendly collaboration with doctors over lying. Do you understand? If it was only me who had lied ... But we were formulating the lies together – and that was very unpleasant, of course. I know people who, when they were in the psychiatric hospital, did not follow that tactic, and considered that I in this sense capitulated.

Ph.: Were there any conversations about it among you at that time?

N.: When I left the Kazan' – I never saw anything worse than the Kazan', although I spent only nine months of my two and a bit years in the Kazan, also some months in the Serbsky Institute. Although I have been to Butyrka, which is not an easy experience – I was starving, cold etc, but in comparison with the Kazan prison it was a paradise. I spoke with people about how I had got out, and they said that I had done the right thing. Later I had a serious argument based on this with Vladimir Gershuni, who had come out after me from the Orlov psychiatric prison, who had not once gone to see the doctors. He thought I had capitulated. And we had quite a serious disagreement. I do not know, even until today, I do not think I could have done differently. But I think the truth is on both sides, but not only on mine or on his.

Ph.: I am interested where such an emphasis on conscience came from?

N.: First of all, I think that family was crucial in forming my conscience. It was an obvious notion in our family. I remember since childhood not only the words, but the notions were often used, such as "conscience", "shameless", "conscienceless", "it would be conscienceless of you to do that" etc. It was all in the vocabulary of that epoch. My childhood was in the 1940s. But both my mother and grandmother were born before the revolution. And it was natural somehow. I can't say it was one particular thing. It was a natural language. My family was neither a Party nor a religious family, i.e. an ordinary family. My mother was from a first-generation intelligentsia family. But my grandmother was a peasant daughter, and her parents were born in the age of serfdom. I also feel that there was something of a peasant nature in all this. I find it very difficult to work out where it comes from. In principle, it was something natural. And in

some funny way, there were also some pioneer and komsomol slogans of those times that coincided with it and did not contradict it. However, then it appeared that Pavlik Morozov did act according to his conscience.

I lived in Krasnopresnenskaya and I was never embarrassed by the monument to Pavlik Morozov that was in the park. It did not occur to me that he betrayed his father. So there was an element of a distorted ideology that entered into one's conscience. But it is difficult to say how this all appeared.

Ph.: You made a very interesting remark about the KGB in 1957 when you were answering them against your conscience. Was it conscious or subconscious?

N.: It was subconscious. It was a complete self-deception, because I didn't want to accept that it was the pressure of fear and pain, and nothing else. And that was conscience-less. The very day I left the prison, as soon as the walls stopped surrounding me, I realized what had happened. Maybe, it was the natural hostility to lying which made me realize how much I had lied to myself.

Ph.: Regarding the 1968 demonstration. When I interviewed Larisa Bogoraz, she mentioned vaguely that, in the broader sense, the demonstration was a result of inner development. Was it true for everyone else, you think? Do you think it is possible to understand the demo as a moral-religious event and not just as a political one, or is it difficult to separate?

N.: You know, it is impossible to speak for everybody. Even though there were seven or eight of us, it was not a collective demonstration, the demonstration of a group. In fact, while we were marching onto the square we didn't know how many of us would be there and who precisely would be there. Of course, I knew some people there, but on the whole I didn't. It was demonstration of separate personalities, doing one thing with similar motives, but not the same motives. I was probably closer to Larisa at that time, but I had already been baptized about a year before that. I used the epigraph for the book "Polden" ("Afternoon") from the apostle Paul. So I regarded the book as some sort of... religious moment. And, of course, I knew that I was heading straight away into the beast's jaws by publishing the book under my name in samizdat a year after the demo, and my case was closed over it. I don't know how wide the religious element was there, but there was no doubt that the element of conscience was there for all of us. There was no doubt it was not a political demonstration, but a moral one. Without doubt.

Ph.: The Moscow intelligentsia's position was that the demonstration would be ineffective and pointless. Was it true?

N.: Yes, it was. But the situation changed after the trial. It is interesting. The trial showed the meaning of this demonstration. I wrote an essay fifteen years afterwards in Russian Mysl' (August 25 1983). However strange, the meaning of the demonstration grew with the years. The first thing I noticed is how the so-called liberal intelligentsia's views changed after the trial. There was the phrase that the "mad Bogoraz had dragged all the others out into the demonstration". Firstly, needless to say, Bogoraz is not mad, as you have probably had the chance to observe. Secondly, no one dragged anyone to the demonstration. On the contrary, a large number of people tried to persuade us against it. The whole night before the

demonstration, Valery Chalidze sat and explained that there was no need to do it, that we would destroy ourselves, that we would have a negative effect on the Soviet-Czech negotiations. Before the trial there was another moment when public opinion started to change, after Anatoliy Yakobson's letter. His letter was a response to that mood. It did have an impact on the mood. And the nearer the trial was... But the trial, you understand.... Many relatives were allowed at the trial and we quickly managed to get the transcripts of the trial into samizdat with the last words of all the five and Larisa's speech of defence. And it all sounded like this – "You see the victors. Here they are the victors, not the victims." I am not using the word "heroes", though people used it there too. I hate this word when it is applied to us. Only people who have no conscience use the word hero about people like that. If you call everyone who follows his/her conscience a "hero", what is the state of society then? And when people say that we are heroes, they say it to justify themselves - you are heroes, you managed to do it, and what could we do? At the same time, they don't want to consider themselves as a people without conscience, do you understand?

Bukovsky's first book contains a whole list of the self-justifications of the Soviet intelligentsia. I myself knew from experience what self-deception and justification were, and how horrible you feel afterwards, how full of shame you are, and you don't want to stay alive. Self-justification is a horrible thing, because when people justify themselves, they get tougher and tougher and then they really lose their conscience. Bukovsky has written beautifully about it. I want to say one more thing.

I remember the sense of a bomb exploding when Solzhenitsyn's "Live Not by the Lie" appeared. It was in 1974 when it was put into samizdat before the departure of his family. He left the document for distribution, and it happened the day or the day after his departure. I was there during all those days at the Solzhenitsyns', so I was one of the first readers, besides the family. And, of course, it was an exploded bomb. But I have to say one thing. But already then, and some of us expressed it in private conversations, I understood the point of speech, but all the same, there was a detail which didn't satisfy me. It was a document on how to avoid living by the ideological lie. And it tells you how to cut yourself off completely from the ideology, not to be a part of it and not to vote. But surely the lie is not purely ideological. Do you understand? Later when I was in the West, with the same set of people, we were discussing if voting at a meeting was bad, but what about being unfaithful to your wife - is that fine? Well, of course, Solzhenitsyn was not writing about that, and there are Ten Commandments to address this issue. But sometimes it happened that people who refused to participate in the ideological lie, found themselves in the net of simple lies and then got so lost. There was such a story with somebody I don't want to name, who was a true Orthodox. He was the author of one of many letters in defense of Solzhenitsyn. He was one of the heroes. But then he got confused in his personal life, left his wife and married his godmother, which is totally out of any Christian law. At the same time, he continued his activity. But when he was arrested, in the 1970s, he broke under interrogation, and, what is more, he even tried to persuade others to give away. And he was not 20 years old, like I was in 1957. Besides, in the 70s there were lots of guidelines about how to behave under interrogations etc. I think that this all began from the moment when while standing against the ideological lie, he decided that all other lies were for him permissible.

Ph.: Is it connected somehow to the dissident's cruelty?

N.: What do you mean by this?

Ph.: I always wanted to know if this will not to live by the ideological lie could sometimes become "I'll insist on my views", do you follow me?

N.: I would rephrase this into "I would always stand up for my views" - and that is a bit different.

Ph.: I agree, it is different.

N.: I would say that now, probably, I can listen to some views, which I disagree with, if I know that expressing my opinion will not change that person's position anyway. It would be in vain. Do you understand? I do not like the word "dissident" ... Natural ad hoc selection meant that the worse a person was the easier he would get into the Party. Of course, in our dangerous category of people, the ad hoc selection was more likely to be positive. Of course, there were so many wonderful people. But it doesn't mean that all these people were wonderful. And the main thing is that they were not heroes. Though I would apply the word "hero" to one person simply because he did such things others were not capable of. So I would call him a "hero" without hesitation for his heroism, for his courage - and that is Bukovsky, of course. He alone might merit this epithet. But I didn't know him then until I met him at Zurich airport.

People are ordinary.

Ph.: One more moment connected with lie. Somebody told me that Yakobson differentiated the lie from telling lies. [lozh' vs vran'e] He believed that the lie is not pleasant, but telling lies is fine. So according to him telling lies is a small matter. I didn't like it much myself, but wanted to find out whether it was a common approach or not.

N.: I don't know about it. I simply don't know how people used to think... As for me, I didn't have such an approach. I think that "lie" is a word of a higher register, of higher style, that's it. But yes, I can say equally - "small lie" and "telling small lies". You see, I don't even like... For instance, if I am at home, I would never tell my kids to answer the phone and say that I am not in. If I don't want to answer the phone, if I am not well, then I would ask them to say that I feel weak, that I am not well. But I never asked my children to do the opposite, though I know lots of people who do.

Ph.: I want to go back a bit to where you said that different people were yearning for the truth, but only for the ideological truth. I think it's a very significant point for many people because they applied much of the political sense.

N.: I think I have learnt with great difficulty through my lifetime to be silent instead of telling the truth. You know, once I had a funny situation. Recently when I was in Russia, I went to the Hermitage. There was a sign there saying "the ticket costs 45,000, concessions for the citizens of the Russian Federation - 15,000, concessions for pensioners - 3,000". According to the age I am supposed to be a pensioner. So a cashier asked me, "Are you buying a pensioner ticket?" And I replied then, "Yes, but I don't have a pensioner's ID on me." And she still sold me that ticket. I was together with a girl to whom I said, "How well I managed to lie!" I lie so seldom that I even felt proud at that moment. However, on the public transport I always bought the

tickets, though no one of my age does it. And one time it was a very funny situation when after the evening of poetry reading, I got on the trolleybus and punctured the ticket. A woman came up to me and said, "You have committed a civil act! No one of your age pays for a ticket." So I would say it was natural, almost physical [not to lie]. I do not see any praise for that. I owe it to my mother, my grandmother, do you understand? No, I do not see any distinction between different types of lie.

One thing I would like to say. In everything I have been saying, I do not want to appear the teacher. I dislike teaching very much, especially when I know I don't have any right to do so. Besides, I don't like teaching and giving advice. I hate saying to someone "you should do this and that". But sometimes it happens to me, because I express myself quite sharply - it's just the manner I have. But people think I am teaching them. I am not the teacher at the inward level.

Ph.: In the book you have mentioned "we wanted to redeem the guilt of our nation in front of the history somehow". I think that Larisa Bogoraz also mentions it in her speech. I would like to find out if you had a conscious conversation on this issue and whether it was very important for you to redeem the guilt of your Motherland.... As if it was not only your lie, but also...

N.: You know, I don't think we discussed it. It was spontaneous. In what sense were we supposed to "redeem"? In the newspapers they said - "the whole nation approved of the invasion". But if any of us stepped out of line - if I stepped out - then it wouldn't be public approval any longer. It would be "the public - minus one person". In fact not only "minus one", but minus seven and even more of those who demonstrated openly. I am writing about it in the epilogue of my book. Then I also give some examples of people, whom I got to know later, when I was already abroad, do you understand? So all this "the whole nation minus a few" is not the whole nation anymore. So I think it's a simple arithmetic of atonement. At the same time we were ready for anything - from being shot on the spot to being allowed to go home quietly - although we did not believe in these extremes, but we were prepared for anything. In this sense we had that atonement impulse. In that sense, we all sacrificed ourselves for our freedom. I stayed free after the demonstration, but then I was put into prison. In Russian there is a little difference between "victim" and "sacrifice". In French there is "victime" and "sacrifice". We were not victims in that sense. We did not feel ourselves as sacrifices, see?

Philip: Thank you.